

О пастырстве¹

(25 декабря 1973 г.)

Излишне говорить о том, какая для меня радость — быть снова в стенах Троицкой лавры и находиться в Духовной академии.

Я всегда колеблюсь, что говорить и о чем; как некоторые из вас знают, я без богословского образования, и говорить на богословскую тему среди студентов и преподавателей академии всегда несколько боязно. Поэтому я стараюсь выбрать такие темы, на которые могу говорить из опыта жизни: о том, что пришлось изведать, что пришлось слышать от людей, которые пережили многое, что довелось читать.

И вот сегодня мне хочется сказать вам о пастырстве. Эта тема постоянно вызывает волнующие думы у всякого священника, у всякого епископа; должна бы вызывать думы и волнение и у всякого христианина, так как в каком-то отношении, независимо от того, несет он священный сан или нет, всякий христианин послан в мир быть проповедником Христа, свидетелем вечной жизни, путеводителем других в Царство Небесное. Поэтому то, что я имею сказать, относится, разумеется, в первую очередь к священнослужению, но относится также к *царскому священству* всех верующих.

Когда мы говорим о пастырстве, само слово звучит для нас богословски; и в этом отношении в культуре

¹ Доклад в Московской духовной академии. Первая публикация: *Антоний, митрополит Суражский*. Проповеди и беседы. Париж, 1976 (без ответов на вопросы).

городов, больших государств, в культуре промышленности оно потеряло ту живость, ту свежесть, которые имело в Ветхом и Новом Завете, когда произносилось среди полей, среди иной культуры. И мне хочется сказать несколько слов об этом, потому что само слово родилось из живых отношений пастыря с паствой, то есть попросту — пастуха с теми домашними животными, с которыми он общался.

Первое, что поражает в Евангелии, когда читаешь рассказ Христов о заблудшей овце, — это нежность, это забота. Если кто из вас жил в деревне или читал и вдумывался в быт ранних времен, то может себе представить: переходящие стада, люди, которые не только с них кормились, но которые с ними жили. Вспомните, например, рассказ в Книге Царств о том, как согрешил Давид с Вирсавией и Нафан рассказал ему притчу. Был богатый человек, у которого все было: и имущество, и стада; и пришел к нему друг, для которого он захотел пир учредить. Но ему стало жалко своих овец, своих ягнят, жалко своего *тельца упитанного*, и он велел у бедного соседа, у которого всего-навсего и была-то одна овечка, эту овечку отобрать, закласть на обед для пришедшего гостя. В рассказе говорится, что эта овечка была для его соседа, бедного, одинокого человека, словно дочь родная, словно ребенок в доме. И вот это соотношение между пастухом и ягненком, между хозяином и его стадом, конечно, мы можем уловить только воображением.

Мы можем также лишь уловить, если представим себе это соотношение, смысл ветхозаветной жертвы. Вот человек заботится о своих овцах. Среди овец рождается агнец особенно прекрасный, чистый, без порока; этого агнца, ягненка пастух будет обхаживать, кормить, за ним смотреть, беречь. И вдруг веление ему

от Бога: выбрать из стада непорочного, совершенного, самого прекрасного ягненка и убить, пролить его кровь — почему? Потому что он, человек, грешен. Для нас эти картины Ветхого Завета странны; но для пастуха это явно, ясно говорило вот о чем: потому что я согрешил, невинное существо, самое прекрасное, самое чистое, беззащитное, на которое я положил свою заботу, которое я старался охранить, оградить любовью, жертвенной силой против всякой опасности, — должно погибнуть. Это говорит о том, что грех одного всегда является мукой и губительством для невинного, причем для самого прекрасного, для самого дорогого.

И вы поймете тогда, почему, когда мы читаем притчу Христову о заблудшей овце, она нас глубоко трогает, хотя мы так далеки от этих образов и от этой жизни. Чувствуется, что эту овцу, которая просто отделилась от стада и ушла, ушла к другим пастбищам, на лакомый кусочек земли, забыла других овец, забыла пастыря, — чувствуется, что пастух-то ее забыть не может! Речь здесь не об убытке, а о том, что эта овца ему дорога, она родилась в его доме, вскормлена его трудами, защищена от волка, — и вот ушла, несчастная.

Так бывает в человеческой семье. Мне вспоминается в особенности одна семья: девушка была соблазнена молодым человеком, исчезла, и потом, через день-другой, пришла в дом весть об этом. Семья сидела; отец долго молчал, потом встал, надел пальто, нахлобучил шляпу и сказал: «Иду ее искать». И ушел на два года — искать. Семья перебивалась, семья жила надеждой, что вернется отец с девочкой. А он переходил из города в город, с места на место, от ремесла к промыслу, перебивался как умел и наконец нашел, брошенную; стыдно ей было вернуться. Он ее взял и привел обратно. Это более, может быть, нам

доступная картина пастырства, того, как пастырь древности, пастух, относился к своим овцам. Слова «агнец», «козленок», «овца», «телочка», которые нам почти ничего не говорят в нашей культуре, были такими теплыми, такими живыми словами ласки, любви, взаимных отношений.

Когда дальше вчитываешься в Евангелие, находишь еще места, как то, которое читается в канун святительских дней, отрывок из Евангелия от Иоанна: *Аз есмь Пастырь добрый; Пастырь добрый душу свою полагает за овец, а наемник бежит, потому что он наемник и не радит о овцах* (Ин. 10: 11–12). И дальше: *Знаю Моих, и Мои знают Меня* (ст. 14). Эти места говорят именно о глубоком, тонком, чутком, любовном взаимоотношении. Пастырь идет впереди своего стада, чтобы первым встретить опасность: вора, разбойника, волка, хищного зверя, разлившуюся реку. Что бы ни пришлось им встретить, он идет впереди, он должен первым встретиться лицом к лицу с этой опасностью.

И тут выявляется другая черта пастырства. В нем — не только ласка, нежность, сознание, что нет ничего дороже этой овцы и что, когда она уйдет, это для пастыря не утрата, а непоправимое горе. Вторая черта — это деятельная, мужественная любовь, защита, заступление, то, что в русской древности называлось «печалование»: долг пастыря — встать перед властями, перед угнетателем, перед тем, кто может погубить жизнь, честь, душу человека, и сказать: «Нет! Нельзя! Пожалей, у тебя тоже совесть есть, к тебе тоже придет смерть, перед тобой тоже встанет суд».

Если вы вчитаетесь в разные места из Ветхого и Нового Завета, вы найдете, разумеется, гораздо больше указаний, чем я сейчас даю. Я хочу отметить только некоторые основные свойства пастыря, без

которых пастырства нет: пастырство — не ремесло, не техника, не руководство, не властвование, а именно ласковое, жертвенное служение. Пастырство не знает дня и ночи; нет такого момента, когда человек не имеет права страдать, не имеет права быть в нужде, потому что пастырю пришло время отдыхать или он занят собой. Нет такого времени! Потому что если моя паства — моя семья, если они родились вокруг меня, если они — мои дети, то как же я скажу своему родному: «Ты перестрадай, а когда у меня будет время, я позабочусь о тебе». Так же нет такого времени, когда молитва пастырская может престать. Нельзя сказать человеку: «Ты так давно болеешь, я тебя все реже, реже поминаю, я устал от твоей болезни, от твоего горя, от твоего тюремного заключения, от того, что все у тебя не ладится и не спорится». Разве это возможно, разве мы так относимся к сестре, к матери, к отцу, к брату, к невесте? Нет, не так!

Вот подлинная мера пастырства: нежное, глубокое, вдумчивое, кровное соотношение; и оно кровное на самом деле, потому что мы действительно одна семья и одно тело, это не только богословское утверждение. Если это не так, тогда вообще все, что мы говорим о крещении, которое нас делает живыми членами живого Христова тела, — ложь; если это не так, тогда то, что мы говорим о причащении Святых Таин, о приобщенности Телу и Крови Христовым, которая нас делает единосущными, единокровными со Христом, — ложь. А если не ложь, то надо делать прямые, беспощадные иногда для себя выводы: каждый человек мне брат, сестра; он Богу так дорог, что Бог за него Сына Своего Единородного отдал; он Христу так дорог, что Спаситель всю Свою жизнь и всю Свою смерть отдал для того, чтобы этот человек, который

мне по человечеству не нравится, жил, воскрес, вошел в Царство Небесное, стал моим братом. Это реально, и пастьерство — в этом.

В сердцевине пастьерства, однако, нечто еще большее. Есть один Пастьерь, *Пастьерь овцам великий* (Евр. 13: 20): Господь наш Иисус Христос. Он — Пастьерь по преимуществу, Он — Единый Пастьерь всей твари и, даст Бог, всех упасет в Царство Небесное. А мы пастьерствуем Его благодатью; мы стоим на том месте, где никакая тварь, никакой человек, самый святой, не смеет стоять; там может стоять только Господь Бог. Приносить бескровную жертву может только Тот, Кто принес кровавую жертву в Своем теле и предал Свой дух Богу о нашем спасении.

Как легко мы входим в алтарь, забывая, что алтарь — то место, которое, собственно, лично принадлежит Богу; что туда войти нельзя иначе как с сознанием ужаса, чтоходишь в удел Божий, что на этом месте никто стоять не смеет. Там веет Духом Святым; там место, где только Христос Своими стопами может ходить. Мы должны были бы входить в алтарь только для того, чтобы совершать в нем служение, в ужасе, в трепете, в сознании, что только Божественная благодать, как рука Божия, легшая на Моисея, когда слава Господня на Синае проходила перед ним, может нас оградить от того, чтобы Божественный огонь нас не изничтожил, как огонь, спешший с небес на жертву Илиину. Вот как мы должны были бы в алтаре стоять, в алтарь входить.

Что же сказать о самой жертве, о самом служении? Единственный Первосвященник Церкви Христовой — Господь Иисус Христос; единственная сила, творящая чудеса в таинствах и различных Божественных действиях, — сила Божия, сила Господа Вседержителя

Духа Святого. В начале Литургии, когда все готово к совершению таинства, когда народ собрался, священство в облачении, когда хлеб и вино заготовлены на жертвеннике, диакон говорит слова, которые так легко мимо нас проходят: *Время сотворити Господеви: владыко, благослови*. И мы это воспринимаем просто как напоминание священнику: теперь, мол, начинай службу. Я спрашивал на Афоне старых монахов, как они читают в греческом подлиннике смысл этих слов. Они совсем не так их понимают, что «теперь пора совершать службу для Бога». Переставляя ударение с одного слова на другое, ударение не грамматическое, а ударение произношением, они толкуют эту фразу так: «А теперь пришло время Богу действовать». Мы сделали все, что по человечеству нам доступно: пришли, составили живой церковный собор, облачились, принесли Богу личную молитву, покаяние, стали со страхом и трепетом перед лицом Божиим, приготовили хлеб и вино; а что больше мы можем сделать? Неужели какой-то священнической или архиерейской силой мы можем превратить этот хлеб в Тело Христово, это вино – в Кровь Христову? Это может совершить только Господь. Теперь священник и диакон будут произносить священные слова, которые превосходят их, превосходят всю человеческую Церковь, которые могут быть произнесены в церкви и Церковью только потому, что Церковь не является всего лишь человеческим обществом, пусть верующим, пусть преданным Богу, пусть послушным ему, а Богочеловеческим телом, равно Божественным и равно человеческим, где во всей полноте обитает Святая Троица в единстве с примирившейся с Богом тварью, где Божество во Христе плотью обитает среди нас во всей полноте (см. Кол. 2: 9). Духом Святым полна и жива Церковь, и жизнь наша

со Христом сокровенна в Боге (см. Кол. 3: 3). Вот почему мы можем говорить эти священные слова, превосходящие все, что человек может сделать или помыслить. И все равно: наши будут слова и наши будут действия, без этих слов и этих действий не совершится ничего, — и однако, Совершителем таинства остается Господь Иисус Христос, Единственный и Единый Первосвященник и Пастырь Церкви, силой Духа Святого Который наполняет Церковь.

И странно это церковное общество; не напрасно мы говорим: *Верую во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь...* По видимости — это все мы; незримо — это мы в глубоком, тесном родстве с Богом; братья и сестры Христа по плоти; братья и сестры Христа по таинственному приобщению Его человеческой воскресшей природе через Таинство крещения и причащения, через принятие Духа Святого в миропомазании. Мы являемся эсхатологическим обществом, то есть обществом, где одновременно, непостижимо, но опытно ощутимо уже присутствует будущий век в пределах этого века, уже пришел конец. Потому что конец — это не какое-то мгновение во времени, а полнота; а полнота пришла Воплощением и даром Святого Духа. Конец пришел, и, однако, конца мы ожидаем; в пределах времени уже действует тайна вечной жизни. И она когда-то разверзнется, и тайна вечной жизни захватит все, даже время. Кто-то из западных русских богословов сказал, что халкидонский догмат относится не только к Воплощению, к соединению во Христе Божественной и человеческой природы. Самое время после Воплощения и дара Святого Духа имеет халкидонское качество как бы соединения вечного, уже пришедшего будущего века и временного нашего бывания и становления.